

> МАГИСТРАЛЪ >

ТОМАС МАНН

Смерть в Венеции



Москва

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44
М23

Paul Thomas Mann
DER TOD IN VENEDIG

Перевод с немецкого *Наталии Ман, Екатерины Шукшиной,
Соломона Анта и Валентины Куреллы*

Художественное оформление серии *Натали Портняной*

Манн, Томас.

М23 **Смерть в Венеции / Томас Манн ; [перевод с немецкого Н. Ман и др.]. — Москва : Эксмо, 2026. — 512 с. — (Магистраль. Главный тренд).**

ISBN 978-5-04-226125-1

Томас Манн — выдающийся немецкий писатель, мыслитель и мастер психологического анализа. Его творчество объединяет реализм и философскую рефлексию, исследуя внутренние противоречия личности, искусство и духовные кризисы европейской культуры. Манн умел превращать частную историю в универсальную метафору человеческого существования, а его проза отличалась глубиной мысли и классической ясностью стиля.

Сборник «Смерть в Венеции» объединяет новеллы, в которых Томас Манн исследует темы одержимости, красоты, одиночества и духовного испытания. Здесь — судьбы художников, мыслителей и мечтателей, людей, ищущих смысл в мире, где разум и инстинкт неразрывно переплетены. Эти истории — миниатюрные трагедии и притчи о человеческой слабости, стремлении к совершенству и неизбежности внутреннего кризиса. В них чувствуется вся сила стиля Манна: интеллектуальная точность, психологическая глубина и музыкальная ритмика его прозы.

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

- © Шукшина Е.В., перевод на русский язык, 2026
- © Ман Н.С., перевод на русский язык. Наследники, 2026
- © Ант С.К., перевод на русский язык. Наследники, 2026
- © Курелла В.Н., перевод на русский язык. Наследники, 2026
- © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

ISBN 978-5-04-226125-1

ПАЯЦ

После всего, под занавес, как, право слово, достойный финал всего этого, жизнь, моя жизнь — «все это», скопом — внушает мне одно отвращение; душит, преследует, корежит, валит с ног, а, возможно, рано или поздно все же даст необходимый толчок и я, поставив точку в этой ничтожной комедии, уберусь отсюда подобру-поздорову. И тем не менее вполне вероятно, пару месяцев еще протяну, еще четверть, а то и полгода буду продолжать есть, спать, чем-то себя занимать — так же машинально, размеренно, спокойно, как протекала эту зиму моя внешняя жизнь — в чудовищном противоречии с опустошительным процессом распада внутри. Внутренние переживания человека тем сильнее и острее, чем уединеннее, безмятежнее, бесстрастнее он живет внешне, ведь так? Но делать нечего: жить приходится; и если ты отказываешься быть человеком действия и уходишь в самый мирный затвор, то жизненные неурядицы обрушатся на тебя изнутри и тебе неминуемо придется проявить характер там, будь ты хоть героем, хоть шутом.

Я приготовил эту чистую тетрадь, чтобы рассказать свою «историю». Интересно зачем. Чтобы хоть что-то делать? Или от страсти к психологии, чтобы испытать от необходимости всего этого удовольствие? Ведь необходимость дает такое утешение! Или чтобы получить секундное наслаждение от некоего превосходства над самим собой, чего-то вроде равнодушия? Ибо равнодушие есть своеобразное счастье, уж я-то знаю...

I

Он в такой глуши, тот старинный городок с узкими петляющими улицами, над которыми возвышаются высокие фронтоны, с готическими церквями, фонтанами, хлопотливыми, солидными, простыми людьми и большим поседевшим от старости патрицианским домом, где я вырос.

Дом стоял в центре города и пережил четыре поколения состоятельных, уважаемых купцов. Над входной дверью значилось «Ora et labora»¹, и, оставив позади широкую каменную прихожую, сверху огибаемую деревянной побеленной галереей, поднявшись по широкой лестнице, нужно было еще пройти просторную переднюю и маленькую затемненную колоннаду; лишь тогда, открыв одну из высоких белых дверей, вы оказывались в гостиной, где мать играла на рояле.

Она сидела в полумраке, поскольку окна были задернуты тяжелыми темно-красными шторами, а белые фигурки богов на обоях словно отделялись от голубого фона, прислушиваясь к тяжелым, глубоким первым звукам одного из шопеновских ноктюрнов, которые она любила больше всего и играла очень медленно, словно чтобы до дна вычерпать наслаждение от печали каждого аккорда. Рояль был старый, и полноты звучания несколько поубавилось, но при помощи педали, приглушавшей высокие ноты, так что они напоминали потускневшее серебро, исполнитель мог добиться необычайно странного воздействия.

Сидя на массивном дамастовом диване с высокой спинкой, я слушал и смотрел на мать — невысокая, хрупкого сложения, обычно в платье из мягкой светло-серой ткани. Узкое лицо было некрасиво, но под расчесанными на

¹ «Молись и трудись» (лат.).

пробор, слегка волнистыми, робко-белокурыми волосами казалось тихим, нежным, мечтательным — лицом ребенка, и, чуть склонив голову над клавишами, мать напоминала трогательных ангелочков, что часто на старых картинах прилежно перебирают струны гитары у ног Мадонны.

Когда я был маленький, мать своим негромким, затаенным голосом нередко рассказывала мне сказки, каких не знал никто, или, опустив руки на голову, лежавшую у нее на коленях, просто сидела молча, неподвижно. Мне думается, то были счастливейшие, покойнейшие часы моей жизни. Она не сидела и, как мне казалось, не старела; только облик становился все нежнее, лицо все уже, тише, мечтательнее.

Отец же мой был высокий крупный господин в черном сюртуке тонкого сукна и белом жилете, на котором висело золотое пенсне. Между короткими, с проседью, бакенбардами выступал круглый и твердый, гладко выбритый, как и верхняя губа, подбородок, а между бровями навечно залегли две глубокие вертикальные складки. Это был могучий мужчина, имевший большое влияние на общественные дела. Я видел, как от него уходили: одни — легко дыша, с лучистым взглядом, другие — сломленные, в полном отчаянии. Изредка мне, а бывало и матери, и обеим моим старшим сестрам, случалось присутствовать при подобных сценах: то ли отец желал внушить мне честолюбивые помыслы добиться в жизни того же, то ли, как я смутно чувствовал, он нуждался в публике. Он имел такую манеру, откинувшись на стуле и заложив руку за отворот сюртука, смотреть вслед осчастливленному или уничтоженному человеку, что я уже в детстве питал подобные подозрения.

Я сидел в углу, смотрел на отца и мать и, будто выбирая между ними, размышлял, как лучше провести жизнь — в мечтательных ощущениях или действуя и властвуя. В конце концов взгляд мой останавливался на тихом лице матери.

II

Не сказать, что я походил на нее внешне, поскольку занятия мои большей частью не были тихими, беззвучными. Вспоминаю одно, которое я истово предпочитал общению со сверстниками и их играм и которое и сегодня еще, когда мне, ну, скажем, тридцать, исполняет меня радостью и удовольствием.

Речь идет о большом, прекрасно оснащенном кукольном театре; с ним я в полном одиночестве запирался у себя и ставил престранные музыкальные пьесы. Комната моя на третьем этаже, где висели два темных портрета предков с валленштейновской бородкой, погружалась во мрак, к театру придвигалась лампа: искусственное освещение требовалось для усиления настроения. Так как сам я был капельмейстером, то занимал место перед самой сценой и водружал левую руку на большую круглую картонную коробку, составлявшую единственный зримый инструмент оркестра.

Затем появлялись артисты, участвовавшие в действе помимо меня, их я рисовал пером и чернилами, вырезал и наклеивал на реечки, чтобы они могли стоять. Это были мужчины в накидках и цилиндрах, а также женщины немислимой красоты.

— Добрый вечер, господа! — говорил я. — У вас все хорошо? Я уже на месте, мне нужно было отдать несколько распоряжений. А теперь прошу в костюмерную.

Все отправлялись в костюмерную, что находилась за сценой, и скоро возвращались совершенно преобразившиеся, разноцветными театральными персонажами. Через прорезанную мной дырочку в занавесе они наблюдали,

как заполняется зал. Заполнен он был и впрямь недурно, и я, дав звонок к началу спектакля, поднимал дирижерскую палочку и какое-то время наслаждался вызванной этим взмахом полной тишиной. Потом следовал еще один взмах, раздавалась глухая зловещая барабанная дробь, являвшаяся началом увертюры (ее я исполнял левой рукой на картонной коробке), вступали трубы, кларнеты, флейты (их характерные звуки я бесподобно воспроизводил голосом), и музыка играла до тех пор, пока под мощное крещендо не поднимался занавес и в темном лесу или роскошной зале не начиналась драма.

Наброски делались в голове, но детали приходилось импровизировать, и страстные, сладостные голоса под трели кларнетов и грохот картонной коробки выпевали странные, полнозвучные стихи, перегруженные высокими, дерзновенными словами, иногда рифмованные, но редко имевшие внятное содержание. Однако опера продолжалась, я пел и изображал оркестр, левой рукой барабанил, а правой с превеликой осторожностью дирижировал не только действующими персонажами, но и всем остальным, так что в конце каждого акта раздавались восторженные аплодисменты, приходилось снова и снова открывать занавес, а порой капельмейстер даже бывал вынужден поворачиваться и гордо, но вместе с тем польщенно, изъявлять комнате благодарность.

Право, когда после столь напряженного представления я с разгоряченной головой убирал театр, меня переполняло счастливое изнеможение, какое должен испытывать крупный художник, победоносно завершивший труд, в который вложил все свое умение. До тринадцати-четырнадцати лет эта игра оставалась моим любимым занятием.

III

Как проходило мое детство и отрочество в большом доме, где внизу вел дела отец, наверху мечтала в кресле или тихонько, задумчиво играла на пианино мать, а обе сестры, на два и три года старше, возились на кухне или у шкафов с постельным бельем? Помню очень мало.

Несомненно одно: будучи необычайно резвым, я более выгодным происхождением, эталонным передразниванием учителей, бесчисленными разнообразными затеями и довольно изысканными речевыми оборотами снискал уважение и популярность у одноклассников. Однако на уроках дела шли неважно, я слишком увлеченно ловил в жестях учителей комичное, чтобы быть внимательным к остальному, а дома голова была слишком забита оперным материалом, стихами и всяческим пестрым вздором, чтобы заниматься всерьез.

— Фу, — говорил отец, закладывая руку за отворот сюртука и читая дневник, который я после обеда приносил в гостиную. Складки у него между бровей становились глубже. — Не радуешь ты меня, честное слово. Что же из тебя выйдет, скажи на милость? Никогда не выбьешься в люди...

Это удручало, однако не мешало тому, чтобы я сразу после ужина прочитывал родителям и сестрам написанное после обеда стихотворение. Отец при этом смеялся так, что на белом жилете подпрыгивало пенсне.

— Какая чепуха! — то и дело восклицал он.

Мать же притягивала меня к себе, убирала со лба волосы и говорила:

— Совсем неплохо, мой мальчик. Я считаю, там есть пара удачных мест.

Позже, став немного старше, я как-то умудрился самостоятельно выучиться играть на пианино. Поскольку черные клавиши приводили меня в особенный восторг, я начал с фа-диез-мажорных аккордов, затем принялся искать переходы в другие тональности и постепенно, проведя много часов за роялем, в гармонических чередованиях, которые были лишены что такта, что мелодии, добился известной сноровки, вкладывая в свои мистические переливы как можно больше чувства.

Мать говорила:

— Его пианизм выдает вкус.

И она устроила так, что мне наняли учителя, занятия с которым продолжались полгода, так как я, ей-богу, не горел желанием учиться ставить пальцы и разбирать такты.

Словом, годы шли, и, несмотря на неприятности в школе, я рос необычайно жизнерадостным. Веселый, всеми любимый, я вращался в кругу знакомых и родственников и, желая казаться обаятельным, был ловок и обаятелен, хотя каким-то инстинктом уже начинал презирать всех этих сухих, лишенных фантазии людей.

IV

Однажды после обеда — мне было где-то восемнадцать, предстоял переход в старшие классы — я подслушал короткий разговор родителей, которые сидели за круглым журнальным столиком в гостиной и не знали, что сын в смежной столовой праздно рассматривает бледное небо над островерхими домами. Разобрав свое имя, я потихоньку подошел к приоткрытым белым дверям.

Отец, откинувшись в кресле и перебросив ногу на ногу, одной рукой придерживал на коленях «Биржевые ведомо-

сти», а другой медленно поглаживал подбородок между бакенбардами. Мать сидела на диване, склонив тихое лицо к пальцам. Между ними стояла лампа. Отец сказал:

— Думаю, в ближайшее время его нужно забрать из школы и отдать в обучение на какую-нибудь крупную фирму.

— О, такой одаренный ребенок, — расстроено ответила мать, подняв глаза.

Отец мгновение помолчал и старательно сдул пылинку с сюртука. Затем пожал плечами и развел руками, выставив ладони в сторону матери:

— Если ты полагаешь, дорогая, что для занятий торговлей не нужен никакой талант, это воззрение ошибочно. Иначе в школе, как я, к моему сожалению, все более убеждаюсь, мальчик не дойдет ни до чего. Его талант, о котором ты говоришь, — своего рода талант паяца. Спешу прибавить, я такое вовсе не недооцениваю. Когда хочет, он может быть обаятельным, умеет общаться с людьми, забавлять их, льстить, имеет потребность нравиться и добиваться успехов; с такой предрасположенностью уже не один составил свое счастье, и, обладая ею, ввиду его безразличия ко всему остальному, он вполне способен поставить торговое дело на широкую ногу.

Тут отец удовлетворенно откинулся, достал из сигаретницы сигарету и медленно закурил.

— Ты, разумеется, прав. — И мать печальным взглядом обвела комнату. — Я часто думала и в известной степени надеялась, что из него выйдет художник... Это верно, на его музыкальные способности, оставшиеся неразвитыми, пожалуй, уповать нельзя, но ты заметил, что недавно, посетив художественную выставку, он начал немного рисовать? Совсем неплохо, как мне кажется...

Отец выпустил дым, выпрямился в кресле и коротко ответил:

– Это всё клоунада и blague¹. Впрочем, полагалось бы поинтересоваться его собственными желаниями.

Ну а какие же у меня, по-вашему, могли быть желания? Перспектива изменить внешнюю жизнь изрядно подняла мне настроение, я с серьезным лицом изъявил готовность оставить школу, чтобы стать купцом, и поступил учеником на крупное лесоторговое предприятие господина Шлифогта, внизу, у реки.

V

Перемена стала, разумеется, чисто внешней. Мой интерес к крупному лесоторговому предприятию господина Шлифогта был крайне незначителен, я сидел на вращающемся стуле под газовой лампой в темной, тесной конторе такой же далекий, отсутствующий, как когда-то и за школьной партой. Только неприятностей стало меньше, вот и вся разница.

Господин Шлифогт, дородный мужчина с красным лицом и седой, жесткой шкиперской бородкой, уделял мне немного внимания, поскольку в основном пропадал на лесопилке, располагавшейся довольно далеко от конторы и склада, служащие же обращались со мной уважительно. Дружеские отношения завязались у меня лишь с одним из них, одаренным, веселым молодым человеком из хорошей семьи, которого я знал еще по школе. Звали его Шиллинг. Он, как и я, надо всеми посмеивался, но помимо этого проявлял ревностный интерес к лесоторговле; и дня не про-

¹ Шутовство (фр.).

ходило, чтобы он не выразил твердого намерения тем или иным способом разбогатеть.

Я же машинально исполнял свои обязанности, а в остальном бродил по складу между наваленными досками, рабочими, смотрел через высокий деревянный забор на реку, берегом которой ехали товарные поезда, и думал при этом о театральном представлении, концерте, что посетил, или о книге, что читал.

Читал я много, читал все, что попадалось под руку, и восприимчивость моя была немалой. Каждую поэтическую личность я вбирал ощущением и думал, чувствовал в стиле книги до тех пор, пока на меня не начинала оказывать влияние следующая. В комнате, где когда-то стоял кукольный театр, я сидел теперь с книгой на коленях, поднимая глаза на портреты предков, чтобы еще раз насладиться звучанием покорившего меня языка, и нутро при этом переполняло неплодотворный хаос из полумыслей и полуобразов.

Сестры одна за другой вышли замуж, и я, когда не бывал занят на фирме, часто спускался в гостиную, где несколько хворавшая мать, чье лицо становилось все более детским, все более тихим, теперь, как правило, сидела совсем одна. Она играла мне Шопена, я показывал ей какое-нибудь новое гармоническое сочетание, а потом она спрашивала меня, доволен ли я профессией, счастлив ли... Какие могли быть сомнения в том, что я счастлив.

Мне было чуть за двадцать, положение в жизни — лишь временное, я не чурался мысли, что вовсе не обязан провести все годы своей жизни у господина Шлифогга или на каком-нибудь еще более крупном лесоторговом предприятии, что в один прекрасный день обрету свободу, оставлю город с фронтонами и устроюсь где-нибудь в мире соответственно своим склонностям: стану читать хорошие, изящно

написанные романы, ходить в театр, понемногу заниматься музыкой... Счастлив? Но я отлично питался, прекрасно одевался и уже рано, в школе еще, видя, как бедные, плохо одетые товарищи по привычке горбятся и с какой-то льстивой робостью добровольно признают меня и мне подобных своими господами и законодателями мод, с весельем в сердце сознавал, что принадлежу к высшим, богатым, кому завидуют — кто имеет полное право смотреть на бедных, несчастных и завистливых с благожелательным презрением, сверху вниз. Как же мне не быть счастливым? Пусть все идет как идет. Лучше всего было, ни с кем не сближаясь, с чувством превосходства, весело общаться с родственниками и знакомыми, над чьей ограниченностью я потешался, но кого из желаний нравиться в то же время искусно очаровывал, и блаженствовать в лучах смутного почтения, которое они все мне выказывали, при этом опасливо чувствуя в моей натуре нечто противоположенное, из ряда вон.

VI

Перемены начали происходить с отцом. Когда он в четыре появлялся за столом, складки между бровями день ото дня казались глубже, и он уже не закладывал импозантным жестом руку за отворот сюртука, а производил впечатление человека подавленного, нервного, робкого. Как-то он сказал мне:

— Ты достаточно взрослый, чтобы разделить заботы, подрывающие мое здоровье. Кроме того, я обязан ознакомить тебя с ними, дабы ты не предавался ложным надеждам относительно того, что ждет тебя в жизни. Как тебе известно, замужество сестер стоило немалых жертв. Недавно фирма понесла убытки, значительно уменьшившие ее капитал.